Эллендея Проффер Тисли

Бродский среди нас

Перевод с английского
Виктора Голышева

CORPUS

Эллендея Тисли

Бродский среди нас

«Corpus (АСТ)»

2014

Тисли Э. П.

Бродский среди нас / Э. П. Тисли — «Corpus (АСТ)», 2014

ISBN 978-5-17-088703-3

В начале 70-х годов американские слависты Эллендея и Карл Профферы создали издательство «Ардис», где печатали на русском и в переводе на английский книги, которые по цензурным соображениям не издавались в СССР. Во время одной из своих поездок в СССР они познакомились с Иосифом Бродским. Когда поэта выдворили из страны, именно Карл Проффер с большим трудом добился для него въездной визы в США и помог получить место университетского преподавателя. С 1977 года все русские поэтические книги И. Бродского публиковались в «Ардисе». Близкие отношения между Бродским и четой Профферов продолжались долгие годы. Перед смертью Карл Проффер работал над воспоминаниями, которые его вдова хотела опубликовать, но по воле Бродского они так и не увидели свет. В мемуары самой Эллендеи Проффер Тисли, посвященные Бродскому, вошли и фрагменты заметок Карла. Воспоминания Э. Проффер Тисли подчас носят подчеркнуто полемический характер, восхищение поэтическим даром Бродского не мешает ей трезво оценивать некоторые события и факты его жизни.

ISBN 978-5-17-088703-3

© Тисли Э. П., 2014
© Corpus (АСТ), 2014

Содержание

Предисловие. Несколько слов о контексте 6
Каких вы любите поэтов? 13
Большая Черемушкинская улица, 1969 14
Дом Мурузи, 1969 16
Лугано, 1969 20
Канун Нового года, 1970 22
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Эллендея Проффер Тисли
Бродский среди нас

Фотографии воспроизводятся с разрешения Casa Dana Group, Inc. and the Ardis Archive, University of Michigan

© 2014 by Ellendea Proffer Teasley

© В. Голышев, перевод на русский язык, 2015

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Издательство CORPUS ®

Предисловие. Несколько слов о контексте

Мира, где Карл Проффер и я познакомились с Иосифом Бродским, давно нет, и по-настоящему знают его только дети «холодной войны». Так что русским читателям, не знающим, как воспринимали то время молодые американцы, наверное, стоит сказать несколько слов о контексте данных мемуаров.

«Холодная война» начиналась, когда к концу подходила Вторая мировая война и военные и гражданские люди наблюдали, как Советский Союз подчиняет пограничные страны. Эти страны будут именоваться порабощенными или сателлитами – в зависимости от того, кто говорит. Ответом Соединенных Штатов на насильственную ассимиляцию этих стран были войны – наиболее масштабные в Корее и во Вьетнаме – и кровавые вмешательства в центрально– и южноамериканских странах. Советы оправдывали свои неприемлемые действия тем, что их огромной стране требуется защита от врагов в форме приграничных территорий. Америка оправдывала свои неприемлемые действия тем, что коммунизм ведет к тирании, и надо останавливать его везде, где он возникает. Это, конечно, очень упрощенное объяснение, но оно позволяет понять, почему в 1950-х и 1960-х годах между двумя великими ядерными державами установилась атмосфера взаимной подозрительности.

Россия присутствовала в повседневной жизни молодых американцев, и присутствие это было окрашено чувством страха. Мы прятались под столами в классе во время учебных тревог и знали, почему наши родители строят бомбоубежища. Нам снились бомбежки, и в нашем сознании Советский Союз был страной, которая подавила народные движения в Венгрии и Чехословакии. Вожди Советского Союза казались непостижимыми, и это рождало страх, что они под влиянием паранойи могут напасть на нас.

Когда наше поколение стало взрослым, его стало волновать постепенное втягивание Америки во вьетнамскую войну, где должны будут сражаться наши родственники, братья, чтобы непонятно как остановить коммунизм. Действовал призыв, и это заставляло молодых задуматься о характере разворачивающейся войны. Мы задумывались и пришли к выводу, что цена слишком высока.

Учитывая угрозу, какой виделся Советский Союз, можно предположить, что Карл и я решили изучать русский язык в соответствии с почтенной традицией «познай врага своего», но, как ни странно, двигало нами совсем не это: русскими исследованиями мы занялись из интереса к одной из великих мировых литератур. К ней мы пришли разными путями, но отозвалась она в нас одинаково. Эта литература, глубокая, богатая и мощная, стала для нас откровением после английской и французской, которые только и были нам знакомы. В девятнадцатом веке крестьянская, по большей части неграмотная, страна родила Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского и Чехова. За этим Золотым веком последовал трагический для России двадцатый век, когда война, революция, Гражданская война и тирания почти разрушили целую культуру. Чудо – что не до конца. Это была сильная литература, и мы были люди сильных эмоций.

Хотя Карл Рей Проффер родился в 1938 году, а я в 1944-м и выросли мы в разных частях страны, в наших биографиях было одно общее: никаких признаков того, что дальнейшая наша жизнь будет посвящена русской литературе.

Родители Карла Рея Проффера не закончили средней школы и, тем не менее, преуспели. Карл поступил в Мичиганский университет в Энн-Арборе, намереваясь стать баскетболистом или, если не получится, юристом. На первом курсе ему надо было выбрать иностранный язык; Карл посмотрел на доску со списком языков и впервые увидел русский алфавит. Он сказал себе: «Какой интересный алфавит». Особенно привлекла его буква «ж», похожая на бабочку. Эта красивая буква и побудила его выбрать русский, что, в свою очередь, побудило записаться

на курсы по русской литературе. До тех пор Карл читал очень мало какой бы то ни было литературы, а теперь встретился с писателями русского Золотого века. Человек с превосходным умом, исключительной памятью и логическими способностями, он, наверное, должен был бы стать юристом – но влюбился в русскую литературу. Это было неожиданностью для всех вокруг, и родители беспокоились: много ли можно достичь в такой бесперспективной области? Он решил писать диссертацию о Гоголе.

В 1962 году Карл впервые посетил Советский Союз, и путешествие было не особенно приятным: немногие русские, с кем ему было позволено общаться, по большей части были из тех, кто присматривал за иностранцами. Однако он смог поездить по стране и основательно поработать над Гоголем. В молодом своем возрасте он был уже превосходным преподавателем, переводчиком и исследователем. Главными его темами – и оказавшими наибольшее влияние на него – были Пушкин, Гоголь и Набоков.

В отличие от Карла, я выросла в читающей семье, хотя никто в ней особенно не интересовался иностранными языками. Первым моим русским знакомством был Достоевский – «Преступление и наказание» я прочла в тринадцать лет. Я сознавала, что не до конца поняла роман, но силу его почувствовала. В пятнадцать лет учитель математики, выучивший русский язык в армии, дал мне сборник стихов Маяковского в английском переводе; особенно сильное впечатление на меня произвела «Флейта-позвоночник». (Конечно, я вообразить не могла, что когда-нибудь познакомлюсь с Лилей Брик, которой была посвящена поэма.)

В колледже я специализировалась по французскому и русскому и поступила в магистратуру Индианского университета. В первый год магистратуры я прочла «Мастера и Маргариту» и сразу поняла, что сосредоточусь в работе на этом романе.

С Карлом Проффером я познакомилась в том же году, 1966-м, на его скандально знаменитой лекции о «Лолите» (цитаты сексуального характера шокировали дам-эмигранток и вызывали оживление среди аспирантов). Он недавно стал профессором Индианского университета и писал свою вторую книгу «Ключи к „Лолите“». За два года мы успели влюбиться друг в друга, разойтись с нашими партнерами и пожениться.

В январе 1969 года мы поехали по научному обмену в Москву. По дороге мы остановились в Нью-Йорке, и у нас состоялось несколько важных встреч в манхэттенских барах. В первом с нами встретился Глеб Струве, знаменитый литературовед из эмигрантов, и объявил, что мы должны отказаться от поездки, потому что в прошлом году Советы ввели танки в Чехословакию: на его взгляд, даже посещение Советского Союза было бы аморальным. Но нашего решения ничто не могло изменить. Мы устали от ожесточения «холодной войны», мы хотели увидеть Советский Союз и сделать собственные выводы. Мы не могли гордиться своей страной, где шла такая тяжелая борьба за гражданские права афроамериканцев и считалось возможным бомбить мирных жителей Камбоджи и Вьетнама. Это заставляло усомниться в наших позициях в «холодной войне». Мы хотели больше узнать о Советском Союзе.

Сами по себе мы определенно не получили бы доступа в круг советской интеллигенции. Карлу был всего тридцать один год, и русские литературоведы в то время ничего о нем не знали. А мне было двадцать пять – аспирантка, пишущая диссертацию о Булгакове. У нас был один козырь, но замечательный – рекомендательное письмо, полученное во втором баре в Манхэттене, от литературоведа Кларенса Брауна к Надежде Яковлевне Мандельштам, знаменитой мемуаристке и вдове Осипа Мандельштама. Это она позвонила Елене Сергеевне Булгаковой, и я смогла ее расспросить. А уже благодаря этому, в свою очередь, мы смогли встретиться со многими другими людьми из литературного мира.

После нескольких встреч с Надеждой Яковлевной наедине мы были приглашены на суаре в ее маленькой квартире. Она позвала к себе интересных людей, в том числе Льва Копелева и Раю Орлову, правоверных коммунистов в прошлом, которые стали диссидентами после

доклада Хрущева на XX съезде. Эти энергичные, щедрые люди стали нашими близкими друзьями, при том что, впервые придя к нам в гостиницу «Армения», они бесцеремонно забрали все наши английские книги, сказав, что им они больше нужны, чем нам…

В последующие годы (мы приезжали в Россию приблизительно раз в год до 1980-го) Копелевы – а также Инна Варламова, Константин Рудницкий и многие другие – устраивали нам встречи практически со всеми, с кем нам пришло бы в голову познакомиться, – от знаменитого литературоведа Михаила Бахтина до рабочего-диссидента Анатолия Марченко. Мы прошли быстрый курс обучения в области текущей и прошлой русской литературы – курс, какого не мог преподать в то время ни один американский университет: в наших списках для чтения практически не было современных писателей и очень мало было доступно в переводе.

Эти многочисленные встречи просветили нас и в отношении подлинной истории России и Советского Союза – благодаря рассказам живых свидетелей разных возрастов.

Большинство обыкновенных людей режим как будто не беспокоил, они жили своей повседневной жизнью, довольные тем, что квартиры и удобства субсидируются и хлеб стоит дешево. Для них было не важно, что они не могут путешествовать, смотреть какие-то фильмы, читать запрещенные книги. Жаловались они только тогда, когда сами или их дети сталкивались с системой, где нельзя чего-то добиться, если нет связей.

Русские, впустившие нас в свою жизнь, инстинктивно чувствовали, что с этими двумя молодыми американцами можно что-то сделать, – и просвещали нас. Они не жалели на нас времени – рассказывали о своей жизни, о своем прошлом, о своих ожиданиях и показывали, как выглядят вещи с их точки зрения. Теперь я понимаю, насколько важной оказалась эта встреча с определенным типом культуры при нашем складе ума. Мы были молоды, энергичны и близко к сердцу принимали идею освобождения. И главное, мысль и действие для нас были тесно связаны. В общем, мы действовали скорее инстинктивно. Для нас было большой удачей познакомиться с людьми московского и ленинградского литературного мира, но вернулись мы после полугодового пребывания в Союзе с тяжелым чувством. Россия – страна в цепях; это не было новостью, но столкнуться с этим лично совсем не то, что читать об этом. Мы были в ярости от того, какую жизнь вынуждены вести умные люди, и, думаю, идея «Ардиса» родилась из этого гнева.

После первых поездок в СССР мы поняли, что большинство людей на Западе не имеют представления о разнообразии и богатстве литературы, которая создается в советской России, и Карл задумался об издании журнала, посвященного писателям Серебряного века, часто игнорируемого нашими исследователями, и новым писателям, заслуживающим перевода. Осенью 1969 года он собрал маленькую группу наших друзей в Индианском университете (почти все они потом стали сотрудниками «Russian Literature Triquarterly») и показал им примерное содержание первого выпуска журнала, посвященного русской литературе. Всех нас увлекла эта идея, но никто не верил в ее осуществление – кто будет журнал финансировать? Кто будет покупать? Ни один из нас не занимался издательской деятельностью, мы ничего в этом не смыслили. Предполагали, что займемся проектом в отдаленном будущем, если вообще займемся.

На самом деле «Ардис» заработал весной 1971 года: Карл заскучал и решил, что ему нужно хобби – может быть, печатать поэзию на ручном прессе. Он обратился в одну из многочисленных коммерческих типографий в Энн-Арборе (теперь он преподавал в Мичиганском университете), и ему посоветовали арендовать наборно-пишущую машину IBM. Увидев, на что годится эта машинка – в том числе для набора на кириллице, – он сделал следующий очевидный шаг: мы сами будем набирать журнал и печатать в Энн-Арборе, где типографские услуги при тиражах меньше тысячи были очень дешевы.

Мы долго думали о названии этого, возможно весьма эфемерного, предприятия, и название, которое пришло нам в голову, родилось в результате нашей московской поездки 1969 года.

В 1969 году нам с Карлом дали номер в бывшей гостинице «Армения». Не буду распространяться о многих странных приключениях в этой гостинице, никогда прежде не принимавшей иностранцев, скажу только, что она была идеальной декорацией для какого-нибудь набоковского рассказа.

Через несколько месяцев нам отчаянно захотелось прочесть что-нибудь новое по-английски. Газеты в посольстве были недельной давности, а библиотека, видимо, остановила комплектацию на Роберте Пенне Уоррене. Однажды, после месяцев бескнижья, к нам с диппочтой прибыл пакет. Набоков попросил журнал «Плейбой» послать Карлу верстку «Ады», чтобы он откликнулся в колонке писем, когда журнал напечатает отрывок из нового романа. Это само по себе было поразительно, но что мы будем читать в очаровательном старомодном номере «Армении» еще не опубликованный роман Набокова, – такое нам не могло явиться в самых смелых фантазиях. Хотя брак наш был на редкость счастливый, «Ада» мгновенно внесла раскол в семью: оба хотели читать ее безотлагательно. Он, конечно, был специалистом по Набокову, зато я – запойной читательницей, и с этим, казалось мне, надо считаться. Мы стали воровать друг у друга книгу самым подлым образом: звонил телефон, Карл неосмотрительно откладывал роман, чтобы взять трубку, я тут же хватала книгу и убегала в ванную, чтобы прочесть следующую главу. Мы глотали роман, запоминали какие-то куски практически наизусть, и после этого «Ада» заняла в нашей памяти особое место, связавшись с этой гостиницей, с этой зимой и отчаянной жаждой прочесть что-нибудь свежее по-английски и чем-то уравновесить давление изучаемого русского мира. Чем-то, что напомнит нам, что мы происходим из английского языка, хотя – парадокс – роман был написан русским эмигрантом.

Той зимой мы понятия не имели о том, как переплетутся наши жизни с Россией, как тронут нас ее страдания и ее достижения, как изменятся наши жизни после знакомства с ее людьми, и замечательными, и ужасными. Наряду с внутренне свободными интеллигентами нам встречались бездушные бюрократы, обаятельные осведомители, печально скомпрометировавшие себя персонажи. У нас возникло желание помочь, но мы еще не знали – как.

Когда пришла пора в 1971 году дать имя издательству, пока существовавшему только у нас в голове, мы с Карлом подумали о набоковской «Аде», действие которой происходит в мифической стране с чертами и России, и Америки, в поместье «Ардис», будто перекочевавшем сюда из Джейн Остен через Льва Толстого и преображенном любовью Набокова к русским усадьбам своего детства.

Карл верил в абсолютную ценность озарения – оно пришло к нему самому, когда из баскетболиста, по случайности занявшегося русским, он чуть ли не за одну ночь превратился в интеллектуала, посвятившего себя серьезным исследованиям. В поисках подходящей эмблемы издательства я просмотрела все свои книги по русскому искусству и остановилась на гравюре Фаворского с каретой. Пушкин сказал, что переводчики – почтовые лошади просвещения, – вот и дилижанс.

Через три месяца – невероятно короткий срок – у нас уже была тысяча экземпляров «Russian Literature Triquarterly», оплаченная деньгами, взятыми взаймы у отца Карла, и сложенная в гараже нашего маленького дома. Как только был напечатан журнал, мы сделали репринт редкой книжки Мандельштама и опубликовали на русском окончательный, 1935 года, вариант булгаковской пьесы «Зойкина квартира», который мне дали в Москве. В последующие годы книги издавались во всех отношениях лучше, но очарование тех первых лет ни с чем не сравнимо. Когда наступило время рассылать журнал, приходили друзья и помогали запечатывать их в конверты; все сидели на полу в гостиной, ели пиццу. Трудно было донести эту реальность до наших русских слушателей, они представляли себе всё по-другому. Они полагали, что

мы разбогатеем, издавая русскую литературу, им трудно было взять в толк, что большинство переводчиков работают бесплатно. «Ардис» года бы не протянул, если бы не сотрудничество славистов и любителей, которые занимались этим делом только из любви. Мы были маленьким издательством, но самым большим издательством русской литературы за пределами России, и влияние наше было намного значительнее, чем можно предположить, судя по тиражам. В Америке мы ориентировались на библиотеки и выпускников колледжей, в России – на неведомых читателей, которые передавали книги из рук в руки и даже печатали копии – особенно Набокова.

Должна сказать благодарственное слово американцам за поддержку нашего издательства, о чем мало знают в России. Несмотря на примитивный дизайн и полиграфию наших первых книг, рецензенты крупных газет и журналов быстро поняли, чту мы пытаемся сделать, и дали на нас больше рецензий, чем мы могли надеяться. Они знали, что в финансовом смысле это безумное предприятие, и помогали, как могли. В 1989 году мне дали грант Макартура, и он нас долго поддерживал. Со временем Карл приобрел хороший навык общения с библиотекарями напрямую – одна рекламная листовка называлась «Силлогизм для библиотекарей», – и это было жизненно важно, потому что продажи книг в твердых переплетах окупали издания в бумажной обложке. Иногда мы чувствовали, что и библиотекари стараются помочь «Ардису».

Когда российские власти узнали, что мы стали издателями, это затруднило нам жизнь. За нами следили, наших знакомых допрашивала тайная полиция, даже держать у себя наши книги для читателей было опасно. Всех, кто имел с нами дело, мы предупреждали, что власти за нами присматривают, хотя любому русскому это и так было понятно. Атмосфера ограничений и запугивания заставила нас, наоборот, вести себя вызывающе. Мы боялись за наших друзей, но за себя – не очень. Видимо, возмущение перевешивало страх.

Мы знали наших авторов, поскольку познакомились почти со всеми здравствовавшими, но не знали своих читателей за пределами Москвы и Ленинграда и, наверное, так и не познакомились бы с ними, если бы не Московские книжные ярмарки.

Единственная ярмарка, где мы с Карлом присутствовали вместе, была в 1977 году – и это было памятное событие. Началась она скверно: цензоры хотели забрать все наши книги. К счастью, я спрятала русскую «Лолиту» в буфете, который они не удосужились обыскать. Пришлось сражаться, чтобы нам вернули хотя бы часть книг… О книжном голоде в России было известно, но размеров его нельзя было себе представить, пока не увидишь, как люди простаивают в очереди по два часа и больше, чтобы только зайти на стенд, где, по слухам, выставлены какие-то интересные книги. На эти ярмарки съезжались люди со всего Советского Союза, и некоторые из них вовсе не выглядели книгочеями – это были самые интересные посетители. Интеллигенты проталкивались к книгам Набокова и пытались стоя прочесть весь роман; людям же рабочего и крестьянского вида дела не было до Набокова, они шли прямо к биографии Есенина, где было много фотографий и в том числе одна, никогда не воспроизводившаяся в Советском Союзе, – Есенина после самоубийства. Биография народного поэта была на английском, но все узнавали его лицо на обложке. Почему меня так трогала их реакция, объяснить не могу. Может быть, они знали, кто их понимал.

Наша дружба с русскими нередко приводила к драматическим событиям – некоторые описаны в этих воспоминаниях. «Ардис» стал существенной частью советского литературного мира: у нас начали публиковаться крупные писатели, которым надоело, что их книги калечит цензура. «Ардис» стал промежуточной станцией для писателей-эмигрантов, уехавших из Союза в 1970-х годах, когда стали выпускать евреев – и тех, кто могли «доказать», что они евреи.

В 1973 году мы перебрались из маленького городского дома в старый загородный клуб с огромным полуподвалом. Теперь у нас было место и для кабинетов, и для хранения книг, и для многих русских гостей, иногда живших у нас месяцами.

Несмотря на все наши старания оставаться чисто литературным издательством, а не политическим, на нас скоро начались нападки в советской прессе. Половину книг мы печатали на русском, а половину на английском, в общей сложности получилось примерно четыреста названий. Из-за английских переводов власти и не решались нас запретить, потому что мы переводили советских писателей, которых они ценили, и ввиду этого определили нас как «сложное явление», то есть за нами надлежало следить, но не вмешиваться.

Десять лет мы сталкивались с обычными проблемами иностранцев в Советском Союзе, но въезд Карлу был официально запрещен только в 1979 году из-за «Метрополя». Я поехала в Москву в 1980 году, но в 1981-м мне тоже отказали. Группа известных и молодых писателей составила этот альманах, чтобы показать абсурдность цензуры, и мы его напечатали. Сборник не замышлялся как политический, но в советской ситуации оказался именно таким. Начальство было уязвлено тем, что в нем участвуют такие люди, как Аксенов и Вознесенский, литературные звезды. Почти все, причастные к сборнику, были так или иначе наказаны. Даже после Горбачева, до начала 1990-х, у меня каждый раз были сложности с пограничниками в аэропорту при въезде.

Карл больше не побывал в России – в 1982 году у него диагностировали рак. В Национальном институте здоровья, где Карл проходил интенсивную химиотерапию, он писал книгу «Вдовы России» – о знакомых нам женщинах, спасших литературные документы для русской культуры.

Россия присутствовала на его похоронах – не только в лице русских друзей, но и в форме писем и телеграмм от незнакомцев со всего Советского Союза, слышавших о Карле по западному радио. Помню одну телеграмму из официально атеистического Советского Союза, когда Карл был еще в сознании, но очень болен: «Скажите Карлу Профферу, – говорилось в ней, – что за него отслужили молебен в Ленинграде». Агностик Карл прослезился, услышав об этом.

Я руководила «Ардисом» с 1982 года (когда Карлу поставили диагноз, он сосредоточился на написании своих мемуаров «Вдовы России») до 2002-го, и в числе наиболее успешных изданий на английском в этот период была антология «Glasnost» и аннотированный перевод «Мастера и Маргариты». Булгаков, изданный у нас и на русском, был ярким примером того, как маленькое американское издательство может повлиять на литературный процесс в России. В 1980-х я без большой охоты начала печатать собрание сочинений Булгакова на русском, поскольку в Москве издание застряло из-за цензуры, а мои ученые друзья сказали мне, что оно никогда не выйдет, и сделать это должна я. Финансово это был неразумный проект, но я за него взялась. Эти первые ардисовские книги попали в Россию, и критик Лакшин написал статью в популярной московской газете с упреком советским издателям, что упустили Булгакова: теперь, писал он, собрание выходит «за океаном». А это были мы – работали в полуподвале «Ардиса», на другом берегу океана.

«Ардис» был представлен еще на двух книжных ярмарках в Москве, и на обеих отразились глубокие изменения в политическом строе страны. В 1987 году у меня еще были сложности с получением визы, и Роберт Бернстайн из «Рэндом хаус» пригрозил бойкотом со стороны других американских издателей, чтобы мне дали визу, когда ярмарка шла уже несколько дней. И опять книги были конфискованы цензорами. Когда я показала свидетельство об аккредитации человеку, регистрировавшему издательства, он ошарашенно прочел вслух мою фамилию, а потом вытащил наше издание Булгакова и попросил надписать. Во время ярмарки секретные сотрудники при литературе завели Рона Мейера и меня в отдельную комнату и угрожали преследованием за публикацию советских авторов без их разрешения. Я ответила, что это не так, я располагала подписанными контрактами. Сказала еще, что предпочитаю иметь дело с людьми

Горбачева, а не Брежнева; они присмирели и отпустили меня. В 1989 году все изменилось, но меня продолжали держать на паспортном контроле, когда моя дочь Арабелла давно прошла. Пограничник вел продолжительные переговоры по телефону с начальством, и я уже испугалась, что меня отправят обратно. Но тут появился Росс Тисли – он против правил прошел туда из зала ожидания, мимо охранников с автоматами. Он убедительно солгал паспортисту, сказав, что меня ожидают американские журналисты, чтобы взять интервью. Еще один звонок наверх – и меня пропустили. На той ярмарке 1989 года мы впервые увидели свободную публику – поразительное, радостное ощущение.

Издавать лучших советских писателей было честью для нас, и работа дала всем нам, сотрудникам «Ардиса», нечто драгоценное: мы поняли смысл своей жизни – сыграть роль, пусть и маленькую, в публикации недостающих томов усеченной русской библиотеки. Русская культура одарила нас многим, но главным даром была дружба с замечательными людьми русского мыслящего мира, включая героя этих мемуаров. Трудно передать словами, чту у меня на сердце, когда я пишу об этом. Правда – всего не скажешь.

Каких вы любите поэтов?

Поэты любят писать о поэтах. В прошлом году я наугад раскрыла книгу Владислава Ходасевича, прочла: «Блок был поэтом всегда, каждую минуту своей жизни», – и подумала об Иосифе. Подумала об Иосифе, а потом подумала о Борхесе – впервые в жизни мысленно соединила этих двух писателей.

Когда мне было восемнадцать лет, меня пригласили на обед, устроенный в честь Хорхе Луиса Борхеса. Для меня это было первое литературное мероприятие, я была посторонней, но, очутившись в чужой среде, почему-то чувствовала себя свободно. Сотрудники испанского отделения отнеслись к Борхесу как к священной реликвии. Что он говорил, не помню. Запомнилась только его любезность. Но я запомнила кое-что еще из этого обеда: человек, сидевший справа от меня, спросил, каких я люблю поэтов.

– Мне нравятся некоторые стихотворения Йейтса, Элиота и Маяковского, – сказала я, пытаясь скрыть свое невежество.

Он сказал, что имеет в виду темперамент. Я не понимала значения темперамента в писателях. Не сознавала, что иногда тебе нужен Элиот, иногда Йейтс или, как сказал бы русский, иной раз Цветаева, а иной раз Мандельштам.

Теперь, когда я прочла многих поэтов, мне понятно, что этот вопрос заслуживает ответа. Тот, о ком я пишу, Иосиф Бродский, нобелевский лауреат по литературе и единственный русский, ставший американским поэтом-лауреатом, считал, что меньший не может рассуждать о большем, но я полагаю, что кошке позволено смотреть на короля.

Большая Черемушкинская улица, 1969

В Москве весна, но вокруг небольшого многоквартирного дома на Юго-Западе, где живет Надежда Яковлевна Мандельштам, природы мало. Мы с моим мужем Карлом Проффером стали бывать у нее начиная с февральского гололеда, и она ввела нас в литературные круги. У вдовы Осипа Мандельштама светлые ведьминские глаза, мелкие кошачьи зубы и детская улыбка с легкой приправкой яда. Ей шестьдесят девять лет, выглядит она гораздо старше, но хрупкость ее обманчива. Она закончила одну книгу воспоминаний, книга еще не издана. Те, кто читал рукопись, говорили, что мемуары ее будут сенсацией и расколят литературный мир… Она спрашивает меня:

– Вы когда-нибудь напишете о нас?

Я отвечаю:

– Нет.

Мне двадцать пять лет, и такая работа мне кажется немыслимой.

В этот день мы говорим ей, что собираемся на неделю в Ленинград.

– Раз вы едете в Ленинград, вам интересно будет познакомиться с Бродским.

Говорит так, как будто уже знает, что из этого получится, – а может, и вправду знает. Она мастерица связывать судьбы.

А тогда мы ничего особенного не ожидали. Ну, еще один писатель, с которым надо встретиться. В Москве больше никто не предлагал с ним познакомиться, хотя многие наши друзья знают его лично.

Мы читали его стихи и имеем представление о его биографии: в 1964 году Бродского обвинили в «тунеядстве» и приговорили к пяти годам исправительных работ в архангельской деревне. Благодаря кампании в западной прессе его освободили через восемнадцать месяцев. Знаменит он стал на Западе из-за этого суда. За его судьбой следят журнал «Энкаунтер», Би-би-си и русские газеты в Париже и Нью-Йорке. Своей известностью он обязан записи судебного заседания, сделанной писательницей Фридой Вигдоровой с большим риском для себя. Но она не смогла вести запись до самого конца процесса – ей это запретили. Последнюю часть она восстановила по памяти с помощью еще нескольких свидетелей. Не будь этого документа, ставшего сенсацией в Европе, мир не прочел бы слов молодого поэта, такого беззащитного и в то же время полного достоинства, сказавшего, что он не тунеядец, а поэт и то, что он написал, сослужит людям службу не только сейчас, но и будущим поколениям.

Для западных литераторов в эпоху «холодной войны» это было потрясением. Для нас же Бродский не был мучеником. Все зависит от контекста, а за те шесть месяцев, что мы соприкасались с советской литературной средой, контекст для нас решительно изменился. Например, наш друг, германист и диссидент Лев Копелев, провел в лагере девять лет; Варлам Шаламов, единственный писатель, воистину претворивший кошмар в литературу, отбыл там почти двадцать пять лет. В 1966 году за публикацию «антисоветских» произведений писатели Синявский и Даниэль были осуждены – первый на семь лет, второй на пять. Все говорят, Бродскому повезло, что Сартр принял в нем участие.

Надежда Яковлевна упоминала о Бродском несколько раз и говорила, что он настоящий поэт, но ему недостает дисциплины. И, как все почти, добавляет, что он самоучка. Уточняя, что самоучка не в том роде, что Давид Юм. Некоторые ее замечания для нас загадочны: Ахматова, утверждает она, оказала большое влияние на Бродского – в том смысле, как он себя держит. Она говорит, что он «очень внимательно» читал стихи и прозу Мандельштама.

Она дает нам его телефон и запечатанное письмо. В Москве она всего пять лет, а перед этим долго скиталась. Она пережила сталинский террор, не раз сталкивалась с осведомителями и поэтому весьма озабочена безопасностью: в письме, вероятно, сказано, что с нами можно

общаться. Мы не знаем, что конкретно содержится в письме, не знаем, много ли она посылала к Бродскому американцев – скорее всего, нет, учитывая ее тогдашний страх перед общением с иностранцами.

У нас и в мыслях не было сказать Надежде Яковлевне «нет», сославшись на то, что в Ленинграде нам надо за короткое время повидаться со многими. Надежда Мандельштам была одним из первых наших проводников по неведомому советскому миру; по ее звонку перед нами открывалось множество дверей и архивов. Мы согласились встретиться с Бродским просто потому, что она так хотела.

Дом Мурузи, 1969

Двадцать второго апреля 1969 года мы входим в комнатку Бродского, хозяин ее похож на американского выпускника. На нем голубая рубашка и вельветовые брюки. Очень западного вида брюки – прямо вызов режиму.

Двадцатидевятилетний Бродский – интересный мужчина, рыжий, веснушчатый, что-то в нем от Трентиньяна. Личность его обозначает себя сразу – юмором, умом, очаровательной улыбкой. Курит беспрестанно и эффектно.

Самое замечательное в Бродском – решимость жить так, как будто он свободен в этой распростершейся на одиннадцать часовых поясов тюрьме под названием Советский Союз. В противостоянии с культурой «мы» он согласен быть только индивидуалистом – или не быть вообще. Кодекс его поведения выработан опытом жизни в тоталитарном обществе: человек, который не думает самостоятельно, который растворяется в группе, – сам часть пагубной системы.

Иосиф словоохотлив и раним. Еврейский выговор его слышен сразу: мать рассказывает, что ребенком она повела его к логопеду, но после первого же занятия он отказался к нему ходить. Он постоянно уточняет, смягчает свои высказывания, следит за вашей реакцией, ищет точки соприкосновения. Говорит о Донне и Баратынском (оба – поэты-мыслители), то и дело повторяя «да?», как бы выясняя, согласны ли вы. (Впоследствии по-английски это будет у него «Yeah?».) Этим он располагает к себе собеседника. Есть, конечно, и другой Иосиф – такого мы редко наблюдали, но часто о нем слышали – дерзкий, высокомерный, грубый. Помню, кто-то из друзей сказал о Маяковском: человек без кожи.

К русским поэтам отношение аудитории чуть ли не священное, влияние их можно сравнить с популярностью известнейших исполнителей авторских песен в Соединенных Штатах. Поэтам положено выступать, декламировать. Читая свои стихи, Иосиф превращается в музыкальный инструмент, его звучный голос заполняет каждый уголок помещения. Голос завораживает, запоминается, как сам его обладатель.

Иосиф реагирует на все в интеллектуальной сфере. Он постоянно генерирует идеи и образы, ищет прежде не замеченные связи и говорит о них по мере того, как они приходят ему в голову. Разговор с ним требует умственного напряжения, и ведет он себя так, как будто ваши мнения для него важны, – в этом часть его обаяния. Судя по его высказываниям о других поэтах, в нем силен дух соперничества, и порой он сам этого стесняется. Философски он держится позиции почти воинственного стоицизма. Говорит он: «Мы ничто перед лицом смерти», а исходит от него – *я покорю.*

Поэт заявляет сразу, что он не диссидент – он не желает определять себя в какой бы то ни было оппозиции к советской власти; он предпочитает вести себя так, как будто этот режим не существует. На его взгляд, несправедливо, что диссиденты привлекают внимание к себе, тогда как безымянные миллионы страдают молча. Нам это малопонятно, нам слышится здесь нотка самооправдания. Он неосмотрительно осуждает людей, зная, что они наши друзья, и в суждениях, кажется, исходит из политики. Он не может простить нашим друзьям Льву Копелеву и Рае Орловой, что они были коммунистами, хотя сейчас они диссиденты и из партии вышли после доклада Хрущева о сталинских преступлениях. Они дружат с Сахаровым, но, по мнению Иосифа, коммунистического прошлого нельзя извинить ничем. (Впоследствии я узнала, что перед арестом, будучи в Москве, он приходил за советом к Копелеву.) Сам он всегда готов дать совет, и, думаю, он пытался предостеречь нас от сомнительных дружб.

Из разговора стало понятно, что мы всего лишь последние из посещавших его иностранцев – до нас тут бывали и ученые люди, и просто приезжие из Европы и Северной Америки.

Многие из них сыграют важную роль в его судьбе после эмиграции, но пока что они для него – гости из свободного мира.

Я понимаю, что Бродский выступает перед нами, в то же время нас оценивая; при этом чувствуется в нем некая застенчивость. Он физически беспокоен, ходит по комнате, берет какие-то вещи, проводит рукой по волосам. Все его тело участвует в общении. Даже выступление в роли «русского поэта» несет большую информацию. Бродский – конквистадор по натуре, и скрыть этого не могут ни слегка смущенные улыбки, ни нервная самоирония. Он колоссально уверен в себе как в поэте.

Во время этого разговора в первый день я замечаю, что Карл заинтересовал Иосифа; Карл очень высокий и, по словам наших русских друзей, похож на Роберта Луиса Стивенсона. Он специалист по Гоголю, Пушкину и Набокову; внешне он сдержан, скептичен. Интеллигенция сейчас увлечена Набоковым, а Карл состоит с ним в переписке – и это очень интересно Иосифу. Мною же Иосиф интересуется лишь постольку, поскольку я женщина – и молодая. Я пишу диссертацию о Булгакове, а он Бродскому неинтересен: слишком популярный писатель и потому не может быть хорошим. Мы получаем удовольствие от беспорядочной беседы, перескакивающей с темы на тему.

Когда мы приходим снова через несколько дней, Иосиф уже не выступает. Он жестом приглашает нас войти, а сам в это время разговаривает по телефону и, поглядывая на нас, говорит в трубку: «Здесь сижу – х… сосу». Мы засмеялись, он засмеялся, и так началась наша близкая дружба с Бродским.

С этих первых встреч мы уходим бодрыми, веселыми, но и с некоторыми сомнениями из-за того, что Иосиф явно желает подогнать мир под свое представление о том, каким он должен быть. Он последователен только в пределах стихотворения. Взгляды его меняются в зависимости от настроения. Для него важно *иметь* идею, а не *проверять* идею. Он категоричен, он вещает, но это нейтрализуется самоиронией и обаятельной улыбкой. Беседа для него – не только процесс общения: говоря, этот человек выясняет, что сам он думает.

Когда нет посторонних, мы подолгу говорим о литературе. Он настаивает, что малоодаренный (на наш взгляд) Тредиаковский – поэт замечательный, и предпочитает Пушкину Баратынского. Мы не согласны, и никакие его доводы нас не убеждают. Если ты русский поэт, можно понять, что тебе хотелось бы, чтобы Пушкин не существовал, – так же, как художники были бы не прочь, чтобы Пикассо умер в раннем возрасте.

Во время этого визита мы коснулись соперничества между Ленинградом-Петербургом и Москвой. Ленинград – искусственный город строгой геометрии и классицистического облика; это самый европейский город России, и он полагает себя выше всей остальной страны. Иосиф разделяет это убеждение. Бульшая часть Советского Союза представляется варварской пустошью. Москва же органична для России, она центр власти и потому подозрительна. Мы не согласны – мы знакомы с культурнейшими людьми в Москве и думаем, что такие же живут в других уголках громадной страны.

Иосиф разговаривает так, как будто ты или культурный человек, или темный крестьянин. Канон западной классики не подлежит сомнению, и только знание его отделяет тебя от невежественной массы. Иосиф твердо убежден в том, что есть хороший вкус и есть дурной вкус, при том что четко определить эти категории не может. Однако его носовое, выразительное «Это просто mauvais ton[1]» звучит в высшей степени уничижительно. Мы сомневаемся в этих абсолютах, но понимаем, что для него это способ сохраниться как художнику в мире удушающей пропаганды, нацеленной на то, чтобы истребить само понятие интеллектуальной элиты. Иосиф твердо стоит на позиции индивидуализма, но при этом нисколько не кажется демокра-

[1] Дурной тон *(фр.)*.

том. «Лучше, чем…» – одна из основополагающих его оценок, и для него важно, что он принадлежит к элите.

В некоторых отношениях он отличается от других писателей: он позволяет перебивать себя и даже приветствует это. Всякому переступившему его порог он готов уделить долю искреннего внимания. Он наживет сотни друзей и тысячи добрых знакомых. Это не типично для писателя, который все-таки должен работать в одиночестве. Но определять Бродского как экстраверта или интроверта бессмысленно – в разное время он может быть и тем, и другим. Иосиф чувствителен и нуждается в тишине, но нуждается также в людях и отвлечениях. Иногда он боится остаться в одиночестве, а иногда во что бы то ни стало должен побыть один. Но по большей части он открыт миру самым неожиданным образом.

Несколькими днями позже он приглашает нас на вечеринку. В маленькой комнате теснятся три десятка людей, и нормальный разговор почти невозможен. Я не понимаю, зачем он нас позвал, – возможно, у него есть предчувствие, что мы будем что-то значить в его жизни. (Сами мы уже чувствуем, что он будет важен для нас.) Иосиф нервно пытается быть хорошим хозяином, проверяет, всем ли налито. Карл мягко спрашивает, почему он беспокоится. Он отвечает: «Хочу что-нибудь сделать или сказать, чтобы заполнить вакуум».

С шестью или семью людьми из компании у нас завяжутся отношения; остальных я увижу только через тридцать с лишним лет.

Карл отлично выдерживает нечто вроде группового допроса и в ответ задает излюбленный вопрос: кто-нибудь из вас верит в свободу слова? Все сначала отвечают «да», а потом начинаются оговорки: да, но не для маоистов, не для марксистов и т. д. Карл говорит им, что в таком случае они не верят в свободу слова. Они же считают наивностью игнорировать последствия Октябрьской революции.

Друзья Бродского гордятся им чрезвычайно и говорят нам – когда он не слышит, – что перед нами самый большой русский поэт.

Нам жалко расставаться. Мы уже привязались к нему и опасаемся за его будущее. За эту неделю выяснились три важных факта об Иосифе Бродском: у него нездоровое сердце, он на пути к столкновению с государством и он жаждет вырваться из страны. Чем мы можем ему помочь?

Думаю, этот вопрос встает перед каждым гостем из заграницы, и можно только надеяться, что кто-то найдет решение. В 1969 году Иосиф видит только один выход: женитьба на иностранке. Когда его спрашивают, не согласен ли он выехать в Израиль (вымышленные родственники десятками шлют «приглашения»), он неизменно отвечает «нет».

Мы снова в Москве, готовимся к отъезду – и вдруг звонок Иосифа: он приехал в Москву. И с ним, дома у Андрея Сергеева, мы провели вечер в очень русском духе: с поэзией, питьем и политическими спорами. Андрей, с которым мы познакомились у Надежды Мандельштам, сыграл важную роль в литературном развитии Иосифа: ему принадлежат главные переводы Элиота, Фроста и Одена, печатавшиеся в журнале «Иностранная литература». Именно он сказал Иосифу, что у него есть общие черты с поэзией Одена.

То, что Иосиф приобщился к английской и американской поэзии, мне кажется, необычно для русского поэта. Я видела многих, которые знали польскую, французскую и немецкую поэзию, но английские и американские стихи мало кого интересовали. На Иосифа больше всего повлияли Оден и Фрост, поэты очень не русские. Ему нравится их сдержанность, ирония и техническое мастерство. Французской поэзией он не интересуется – Валери и Вийона не упомянул ни разу. Не заговаривал и о Рильке, хотя тот явно для него важен.

У Сергеева мы по очереди читаем стихи: Карл – Пушкина по-русски, я – Йейтса; Иосиф не в восторге, говорит, что в исполнении нет драматизма, и это на самом деле так. У нас стихи можно читать просто. Этим вечером мы впервые слышим Иосифа по-английски. Он читает

стихотворение Эдварда Арлингтона Робинсона, и понять ничего нельзя. Сам он уверен, что справился замечательно. Это важная для нас новость: у него очень сильный акцент, и читает он с русской интонацией, сам о том не подозревая.

Позже вечер принимает неприятный оборот. Андрей и Иосиф нападают на нас из-за нашего отношения к войне во Вьетнаме. Как и большинство людей нашего возраста, мы против войны. А они считают, что мы дураки, если не стремимся уничтожить коммунизм везде, где можем. Что до протестующих студентов в Америке – поделом, что их бьет полиция, пусть занимаются своими студенческими делами, а не играют в политику.

Этот спор естественно переходит к теме гражданских прав. Андрей и Иосиф в один голос говорят, что протестующие своего счастья не понимают – любой русский был бы рад жить так, как обыкновенный черный американец. Карл терпелив, даже когда возмущен, и только спрашивает, как именно, по их представлению, должны применяться к демонстрантам предлагаемые законы.

Слова, конечно, не дела, даже когда исходят из уст поэта, который иногда склонен думать, что это одно и то же. На самом деле в этой дискуссии они дают выход своему гневу на советскую систему.

Заканчивается наше пребывание в Москве, и перед отъездом – короткая встреча с Иосифом в сквере напротив Большого театра. Мы сидим на скамейке и деревья роняют на нас комки пуха. «Ахматова писала об этих деревьях», – говорит Иосиф. Вид у него немного грустный, сиротливый. Как будто думает, что мы можем забыть его. Он напрасно огорчается. Такая личность, как Иосиф Бродский, может встретиться раз в жизни, и трудно думать о нем, не прибегая к таким словам, как «судьба» и «предназначение», потому что ими полон воздух вокруг него.

Лугано, 1969

Мы уехали из России летом, некоторое время провели в Оксфорде и отправились в Лугано, чтобы встретиться с Набоковыми, которые охотились там за бабочками. Позже, когда Карл сказал Бродскому, что его имя упоминалось в ходе долгого ужина, Иосиф был очень доволен.

С обоими этими замечательными писателями мы познакомились в 1969 году. Только теперь я осознала, что у этих людей, несмотря на разницу поколений и разное происхождение, удивительно много общего: оба – из Петербурга, города, которого они больше не увидят после отъезда на Запад, оба писали и по-русски, и по-английски, и обоих мы издавали на русском языке в 1970-х и 1980-х годах. Решительные противники советской власти, они не ожидали, что у них будут читатели на родине, и были удивлены и даже слушали с недоверием, когда я сообщила им – в разговорах с промежутком в пятнадцать лет, – что их высоко ценят читатели в Советском Союзе.

Я бы сказала, что Набоков не хотел посетить Россию, понимая, что это уже не та страна, какую он знал, а Бродский не хотел навестить ее, будучи уверен, что это та же самая страна, из которой он уехал.

И Набоков, и Бродский были очень остроумными людьми и очень чувствительными в том, что касалось их литературной чести. Оба были самоуверенны, честолюбивы, и в обоих жил сильный дух соревнования. Оба враждебно относились к тому, что понимали под фрейдовской теорией бессознательного.

До «Лолиты» материальное положение Набокова было шатким. Он перешел на английский из профессиональных соображений, понимая, что на эмигрантской аудитории не заработать, и в уверенности, что в Советской России читателей у него не будет. Не рассчитывал он и на то, что переход на другой язык принесет ему богатство – его первые английские книги не имели коммерческого успеха. Набоков с детства говорил на трех языках – на русском, французском и английском; английский был первым его языком. Он окончил Кембриджский университет. Проблемы *писать* на английском у него не было; совсем другая проблема – *творить* на английском.

Физически и психологически образ Набокова производил сильное впечатление. По его внимательности можно было предположить в нем писателя; но также легко было угадать аристократа и ученого – как оно и было на самом деле. В отношении образованности и общей культуры он имел такие возможности, какие были недоступны Иосифу – и нам. В частной беседе он был шутлив и свободен – никакая тема не была запретной. Но, даже когда болтал, например об Апдайке, проскальзывала в его рассуждениях легкая тень halluciné[2]. Не то у Бродского: в разговоре он присутствовал целиком, всегда настроен на собеседника, всегда начеку.

Я бы сказала, что этих двух русских писателей отличал их подход к миру. Набоков был и художником, и ученым; его заботила точность. Иосиф старался познать мир через идеи о нем, которые у него уже сложились, и часто превращал свои чувства в факты; его не очень волновало, если какая-то деталь была ошибочной – лишь бы поэтическая строка удалась.

В результате этих разговоров в Лугано Набоков послал нам деньги, чтобы мы купили подарки Надежде Мандельштам и Иосифу Бродскому и привезли им, когда поедем туда в следующий раз.

Когда мы познакомились с Иосифом, он был очарован набоковской прозой, но это кончилось после того, как он услышал об отзыве Набокова на поэму, которую мы переправили по дипломатическим каналам в июне 1969 года. «Горбунов и Горчаков», написанная под сильным

[2] Галлюцинирования *(фр.)*.

влиянием Беккета (что упускают из виду русские исследователи), нам казалась шедевром – свой опыт пребывания в психиатрической больнице Иосиф претворил в нечто высокооригинальное. Эти стихи можно читать как разговор двух пациентов сумасшедшего дома или (и даже одновременно) как спор рассудка с самим собой. Технически это беспрецедентное достижение: помимо всего прочего Бродский изобрел новую для русской поэзии строфу. Впечатление такое, как будто поэт набрал полную грудь воздуху и выдохнул это длинное стихотворение, где рифма и метр – сами стали метафорами.

Когда мы вернулись в Америку, Карл послал Набокову экземпляр, надеясь, что поэма понравится. Она не понравилась. Иосиф спросил Карла, как к ней отнесся Набоков. Карл пересказал отзыв Набокова по возможности тактично, но Иосиф желал знать все, и Карл принял решение: в этой дружбе он будет настолько откровенным, насколько можно быть с Иосифом.

Набоков счел изъяном стихов неправильные ударения, отсутствие словесной дисциплины и вообще многословие. Он несколько смягчил свою критику, заметив, что было бы несправедливо упирать на эстетику, учитывая жуткий фон и страдания, сквозящие в каждой строке.

Оценка Набокова не так уж отличалась от оценки Надежды Мандельштам – но она почувствовала мощь в этом потоке слов. Старшее поколение было особенно чувствительно к переменам в русском языке – а Иосиф в ранних произведениях свободно перемешивал все уровни речи, используя то, что для людей, родившихся до революции, звучало безобразно по-советски. (Позже он сам – воззрения нередко затвердевают вместе с артериями – выступал с инвективами против использования «уличного» языка в американской поэзии.)

Иосиф не забыл и не простил этой критики. Он разом понизил блестящего прозаика Набокова до статуса несостоявшегося поэта.

При всем, что у них есть общего, сравнивать этих двух писателей, по сути, бессмысленно: проза Набокова несравненно лучше прозы Бродского, поэзия Бродского несравненно лучше поэзии Набокова.

Канун Нового года, 1970

В последующие несколько лет, приезжая в Россию, мы каждый раз виделись с Бродским и узнали его гораздо лучше. Что я помню о манере русской речи Иосифа – и до сих пор мысленно слышу, – это его протяжное «так», подразумевавшее: «говорите дальше». Многие его замечания начинались со слов: «Все очень просто». Сквернословил он походя и элегантно и научил меня всем словам, которых я предположительно не знала. Любимыми его словечками были «следовательно», «то есть», «в конечном счете». У него была большая склонность к языку логической аргументации при сколь угодно сильном эмоциональном наполнении. (Позже, по-английски, он заканчивал свои утверждения словами: «It's as simple as that», хотя суть отнюдь не всегда была «simple». Вскоре наступила эпоха королевского «we» («мы») и излюбленного «at the very least» («как минимум»).

Почувствовав себя раскрепощеннее с нами, он стал еще забавнее и обаятельнее. Одно из моих любимых воспоминаний: мы у него, Карл разговаривает с кем-то, а Иосиф спросил меня, знаю ли я знаменитую песню двадцатых годов «Купите бублики». Я не знала. Слушайте, сказал он, вам понравятся слова. И, усевшись на край кожаной кушетки, без всякого смущения запел. Это было замечательное, комическое исполнение жалобы уличной торговки:

Отец мой пьяница, за рюмкой тянется,
А мать уборщица, какой позор!
Сестра гулящая, тварь настоящая —
А мой братишечка – карманный вор.

Второй раз мы встретились с ним через год и к этому времени успели прочесть множество его стихотворений. Некоторые люди верили ему, когда он говорил, что не боится смерти. Мы – нет. Он считал, что к ней так надо относиться, но жил он не так. Жил он со страхом, что может умереть от сердечного приступа в любую минуту; особенно обострялся этот страх, когда он надолго оставался один или с людьми, с которыми не чувствовал близости, – что, примерно, то же самое. В его поэзии то и дело возникает мир, где уже нет поэта, – своего рода элегия, обращенная в будущее.

Иосиф Бродский присутствовал в нашей жизни, даже когда мы находились в Америке. Если удавалось, он присылал нам забавные записочки с возвращавшимися иностранцами, мы тоже слали ему письма, изредка перезванивались. В то время по причинам, известным лишь богу запойных книгочеев, я углубилась в письма Байрона, и записки Иосифа были до удивления на них похожи: лаконичные, смешные и откровенные. У этих двух поэтов было много сходного: перемены настроения, влюбчивость и способность обрастать преданнейшими друзьями.

В ответ на одну из горестных открыток Иосифа, например, Карл ему писал:

А если серьезно, Джордж [Клайн], Э. и я долго и с любовью говорили о тебе. Он показывал твои фотографии – одна, на фоне северного леса, вызвала у Э. слезы, а у меня злость… В письме ты говоришь о недавнем унынии. Ты должен убить «Малоун умирающую»[3].

Не могу посоветовать, каким именно оружием, но надо, вообще человеку надо. Если ты можешь отослать от себя часть уныния в письмах, шли нам. Мы вынесем, потому что радостей у нас больше, чем мы заслуживаем.

[3] *«Малоун умирающая»* – отсылка к популярной ирландской песне, героиня которой, Молли Малоун, умирает от мучительной болезни. В Дублине установлен памятник Молли.

Депрессия была опасностью для этого поэта. Из письма, датированного 24 июня 1971 года, начинавшегося словами «Dear dear Carlendear»:

Заканчивая это письмо, я снова чувствую грусть… Как бы там ни было, хочу сказать, чтобы вы помнили всегда, так как вижу, что буду все реже и реже пользоваться этим словом: я, правда, люблю вас, всем сердцем, всей душой и всем, что еще осталось от ума… Потому что на ваших лицах написано больше, чем можно написать на бумаге. Простите.

Русские читатели часто упрекали Иосифа в холодности, но я никак не чувствовала ее в его стихотворениях; я видела в них человека, не желающего уступить своему страху, сказав заранее: мы ничто в общей системе мира. Позиция его – позиция мрачного реалиста, но в его поэзии есть кипение, отрицающее эту позицию. Техническая виртуозность Бродского, удовольствие, скажем, от того, чтобы придать контуру строф форму бабочки в стихотворении «Бабочка», вселяет радость, потому что поэт сам радуется, сочиняя. По природе Бродский тяготел к метафизике; однако я почти готова доказывать, что он романтик: самым крупным его поэтическим проектом оказалось большое количество взаимосвязанных стихотворений о любви к одной женщине.

У Иосифа было огромное множество знакомых в России, он соприкасался с литературной элитой, молодыми поэтами из окружения Ахматовой, лингвистами тартуской школы (советской наследницы Пражского кружка). Бродский бросил школу в пятнадцать лет, и ему пришлось заниматься самыми разными работами, зато он получил возможность читать то, что ему интересно. Позже он нашел путь к самым качественным источникам литературной образованности, слушая лекции и встречаясь с учеными людьми. По моему ощущению, обучать его на самом деле было невозможно, поэтому школа (в особенности советская школа), вероятно, была для него невыносима. Сам же он учился великолепно, но только в тех областях, которые его интересовали. Поэтическая личность его сформировалась рано: почти с самого начала он искал то, что отвечало его мировоззрению. Ему не надо было дочитывать книгу до конца, чтобы она родила в нем четкий отклик, и то же самое, когда он слушал умный разговор, – нужные идеи он хватал из воздуха. Из-за того, что он рано отказался от систематического образования, в его знаниях остались довольно большие пробелы, и он не знал, чего он не знает. По сути, он был единственным знатоком своего интеллектуального мира. Свое решение бросить школу он объяснял по-разному, часто – как решение этическое: он видел, что те, кто прошел советское обучение, теряют независимость. Однако мы знаем многих физиков, лингвистов и т. д., которые прошли через эту систему и отнюдь не потеряли способности мыслить самостоятельно. Однажды он сказал мне, что бросил из-за девушки – и это было бы очень в его духе.

Меня всегда удивляло, какие познания приписывают писателям литературоведы – словно писатель обязан быть ученым-философом. Некоторые были – Фрост был ведущим латинистом своего поколения. Элиот знал по меньшей мере четыре языка, два из них мертвые – но большинство учеными не были. Поэтами делает не эрудиция.

Широкие обобщения Иосифа не всегда выдерживали анализ. Такое, например, что угасающую империю удерживает от распада только лишь язык. Подобно тому как художники во главу угла ставят образ, обожествление языка в случае Иосифа – часть déformation professionelle[4]. Он думал, что если бы вожди читали больше стихов и научились ценить язык как таковой, это могло бы уберечь мир от тирании. В этом размашистом утверждении отражается его честолюбие: ему мало, чтобы поэзия была искусством, удовольствием и утешением, он хочет, чтобы она вела к чему-то значительно большему.

[4] *Букв:* профессиональное искажение; здесь: печать профессии *(фр.)*.

Известно его высказывание, что у прозы нет правил, – эта позиция возмущала прозаиков, читавших его рассуждения о превосходстве поэзии над прозой. При этом он часто говорил о желательности прозаического элемента в поэзии – чего-то в духе Достоевского. И ни разу, ни разу он не упомянул при мне «Евгения Онегина», самого прославленного романа в стихах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.